

НАША МАРКА



Александр
ЕТОЕВ



*бегство
в египет*

А М О Р А

Александр Етоев
Бегство в Египет

«Автор»

1998

Етоев А. В.

Бегство в Египет / А. В. Етоев — «Автор», 1998

«В детстве я выпиливал лобзиком, не курил и страшно не любил темноту. Полюбил я ее только лет в восемнадцать, когда начал курить, зато перестал выпиливать лобзиком. До сих пор об этом жалею. Я помню, на нашей Прядильной улице, когда меняли булыжную мостовую, мальчишки из соседнего дома в песке отрыли авиационную бомбу. Участок улицы оцепили, жителей из ближайших домов эвакуировали к родственникам и знакомым, а мы, сопливое население, стояли вдоль веревки с флажками и ждали, когда рванет...»

© Етоев А. В., 1998

© Автор, 1998

Содержание

1	5
2	6
3	7
4	8
5	9
6	11
7	12
8	14
9	16
10	17
11	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Бегство в Египет

Маленькая повесть для больших детей

1

В детстве я выпиливал лобзиком, не курил и страшно не любил темноту. Полюбил я ее только лет в восемнадцать, когда начал курить, зато перестал выпиливать лобзиком. До сих пор об этом жалею.

Я помню, на нашей Прядильной улице, когда меняли булыжную мостовую, мальчишки из соседнего дома в песке отрыли авиационную бомбу. Участок улицы оцепили, жителей из ближайших домов эвакуировали к родственникам и знакомым, а мы, сопливое население, стояли вдоль веревки с флажками и ждали, когда рванет.

Приехала военная пятитонка, мордатый сапер с усами скомандовал из кабины двум молодым солдатам: «Леха! Миха! Вперед!» – и Леха с Михой, дымя на бомбу авроринами, выворотили ее из песка, схватили, Леха спереди, Миха сзади, и, раскачав, зашвырнули в железный кузов.

С тех пор я знаю, что такое «гражданское мужество».

Друзей у меня было двое – Женя Йоних и черепаха Таня. Втроем мы бегали на Египетский мост смотреть на мутную воду.

Да, чуть не забыл, внизу под мостом протекала река Фонтанка.

2

Художник Тициан был неправ. В Египте звенят тополя – серебряные и простые. И Мария везет младенца в скрипучей детской коляске с протертым верхом из кожаменителя. А Иосиф, добрый лысый еврей, плетется чуть в стороне и бормочет невпопад Пастернака.

– Египет? Ты это брось, – сказал крестный. – Египет в Африке.

И, оттерев меня лбами, они с папой принялись на географическом атласе искать Африку.

Сначала они пришли в Антарктиду, где холодно.

Потом отправились на кухню курить.

Потом вернулись и крестный сказал: «Ага!» Это он нашел Африку. Она была разноцветная и большая, и по краям вся в трещинах африканских рек. В Африке было жарко, и крестный с папой пошли в Покровский сад выпить квасу.

Я знал, что это надолго, спрятал в карман котлету и спустился черным ходом во двор кормить черепаху Таню.

3

Старый Египетский мост охраняют сфинксы. Два – на коломенской стороне, у нас, и два – на другой, египетской.

Уже с полгода мы Женькой Йонихом мечтаем сбежать в Египет.

Женьке мешает скрипка, мне – ничего не мешает, но без Женьки я не могу: сами понимаете – дружба.

Йоних – человек гениальный, его мама, Суламифь Соломоновна, в этом абсолютно уверена, особенно в его музыкальном слухе. А я – так себе, серединка на половинку, просто человек, одним словом.

Собственно говоря, идея сбежать в Египет принадлежала Женьке. Я уже не помню, почему он выбрал Египет, а не дебри Борнео и не Соломоновы острова. Наверно, Египет тогда нам казался ближе. В Египет ходил трамвай – забирался на Египетский мост, немного медлил и проваливался за дома-пирамиды.

Зато я отлично помню, от чего он хотел сбежать – от этой своей гениальности, в которую он не верил.

4

Женька Йоних с утра репетировал – возле открытой форточки вместо утренней физзарядки. Скрипка еще спала, и звук получался сонный. Тонкий, тоньше комариного клюва, он медленно утекал за окно и падал на холодный асфальт. С кухни пахло куриным запахом пищи.

Женька Йоних вздыхал и с ненавистью глядел на скрипку. Скрипка, как половинка груши, спала на его плече. Тогда он больно и с тихой злостью таранил острым смычком ее надкушенную середину, она вздрагивала, сонно зевала, и все повторялось снова.

В клетке на этажерке жил злобный попугай Степа. Он слушал и насмехался. Музыку он не любил. Желто-зеленым глазом он смотрел на семечки нот, рассыпанных по нотной тетради, и облизывался костлявым ртом.

5

Женька у себя репетировал, а я с утра пропадал на улице.

Утро было воскресное, и торчать у всех на виду в просыпающейся коммунальной квартире – то еще, скажу я вам, удовольствие.

Сизый дым сковородок, застоявшееся в тазах белье, храп инвалида Ртова, от которого дрожат стены и мигает лампочка в коридоре, утренняя очередь в туалет... На улице было лучше.

Посверкивал диабаз, небо перебегали тучки, но день обещал быть теплым.

Ничего особенного от нашей улицы я не ждал, я знал ее как облупленную. Трамваи по ней не ходили, криминальный элемент Кочкин с июня был прописан в колонии, до ноябрьских праздников почти месяц. Друг, и тот репетирует по утрам – и приходится гулять в одиночестве.

Поэтому, когда я увидел стоящего у стены человека, то сначала не заметил в нем ничего особенного. Стоит себе и стоит у дома № 13, голову задрал вверх, над ним на фасаде кариатида, похожая на гипсовых физкультурниц из ЦПКО; когда-то кариатид было две, но напарницу ее в прошлом марте убила ледяная сосулька, когда скалывали с крыш лед.

Но что-то меня в этом типе заинтересовало.

Какой-то он был не такой, как все. Не совсем такой. Стоял он не то чтобы беспокойно, но все-таки теребил пуговицу на рукаве. И пусть бы себе теребил, но при этом он удивительно напоминал Лодыгина, нашего лестничного соседа, очень непонятного человека.

Такое же пальтецо, мышинного с пролысью цвета. Те же брюки в кривую линейку. И шляпа – главное, шляпа старинного охотничьего покроя.

А на шляпе – сбоку – жестяная птица глухарь.

И уши, и нос трамплином, и голос – все было его.

И только рыжие мочалки усов, топырящиеся из-под мохнатых бровей, были, кажется, не его.

Я задумался.

Глаза странного человека закрывали огромные в поллица очки – коричневые, без про-светов, как маска.

Нет, очки были не лодыгинские. Тот носит обыкновенные, и дужка перемотана изолентой.

Я задумался еще крепче. Мне сделалось интересно. Я стал присматриваться. Сначала к шляпе с приклепанным к ней намертво глухарем.

Шляпа на человеке жила своей особенной жизнью. Она тихо сползала ему на глаза, доходила до какой-то черты и, должно быть, почувствовав, что пора, – быстро падала с головы на асфальт.

Асфальт всхлипывал, шляпа – тоже, человек нагибался за шляпой, и в это время с лица спадали очки.

Так он стоял, сгибаясь и разгибаясь. Сначала падала шляпа, потом, за шляпой, очки. По очереди: шляпа – очки.

Но кто это был, Лодыгин или не он, – с места, где я стоял, было не разглядеть.

Человек стоял рядом с домом, плечом подпирая стену, и в промежутках, когда не сгибался-не разгибался, делал вид человека, который очень старательно высматривает кого-то на улице. Слишком старательно – и дураку было ясно, что смотрит он для отвода глаз. Я это понял сразу. Но это было еще не все. Не самое любопытное. Интереснее было другое.

Рядом с ним стоял еще один человек, без шляпы.

Ростом этот второй был ниже первого ровно на высоту шляпы, это когда у первого она держалась на голове. Стоял он ровно, не сгибаясь-не разгибаясь.

Лица у них были похожи. Вернее, очки на лицах. Коричневые, огромные, словно куплены в одном магазине.

Я тихонько присвистнул и продолжал наблюдать.

Похоже, у этого, что стоял ровно, болели зубы. К щеке его прирос какой-то дурацкий бабий платок в зеленый горошек да еще сверху перевязанный узелком. Как заячьи уши.

Стояли эти двое тоже как-то не по-людски, а друг к другу спинами. Они как бы не замечали один другого, как бы старались всем показать, что знать друг друга не знают и совсем друг другу не интересны.

Такая вот загадочная картинка.

Поначалу картинка была немой. Только глухо стучала шляпа, да с задержкой в четверть секунды до подворотни, откуда я наблюдал, долетало гулкое эхо.

Но что-то было еще – какое-то бормотанье, чей-то голос, невнятный и шепелявый, скрывающийся за бубном очков и глухим барабаном шляпы. Чей только?

Я навел на резкость глаза и увидел, как у первого шевелятся губы. Голос был определенно Лодыгина. Говорил он как бы в пространство, как бы беседовал сам с собой, а второй, стоящий к нему спиной, как бы его не слушал.

Не слушал-то он не слушал, только ухо его дергалось, как укушенное, когда у первого шевелились губы. Потом проходило время, и первый, наговорившись, давал губам отдохнуть.

Тогда начинал другой. И все менялось местами. Второй шевелил губами, а первый как бы его не слушал.

Сцена была удивительная. Эти двое стояли, пока не думая расходиться. Ветер трепал их пальто, ежик на голове бесшляпного волновался, словно пряди Медузы, а в несчастную шляпу первого, когда она падала на асфальт, наметало палой листвы из садика на углу с переулком.

Тогда первый хватал свою ненавистную шляпу и, словно старинный сеятель, расшвыривал их оттуда по сторонам.

Надо было что-то решать. Улица уже оживала, и ясно было, что долго этим двоим не выстоять.

6

– Господи, ну я-то в чем виновата! – сказала мама, Суламифь Соломоновна. – Снова валяешь дурака?

– Я репетирую, – сказал Женька и смычком уколол струну.

– Врет, – сказал попугай, облизываясь костлявым ртом.

– Вижу я, как ты репетируешь. Это ж подумать – все для него, себя ради него не жалею, а что взамен? Черная неблагодарность! «Я репетирую». Если б Ойстрах так репетировал, кем бы он стал? Ойстрахом? Водопроводчиком он бы стал. Тебе абсолютно все равно, что говорит мать. Меня ты не слушаешь. Но если я для тебя ничто, то хотя бы ради памяти твоего покойного дедушки не сиди сложа руки. Работай.

– Я не сижу. Я репетирую.

– Ну хорошо, хорошо. Это хорошо, что ты трудишься. Ты еще маленький и многого в жизни не понимаешь. И может так получится, что когда поймешь, будет поздно. Так вот, чтобы не было поздно, ты должен меня во всем слушаться. Я твоя мать, и плохого тебе не желаю. Как ты этого не понимаешь!

Глаза ее стали влажными и коричневыми от заботы и от печали.

– Мама...

– Нет, ты не понимаешь. Пойми, у тебя способности. Ты сам не знаешь, что у тебя способности. А я знаю. И я их разовью. Так что, не думай, водопроводчиком у тебя стать не получится. Не для этого я тебя родила. Вот увидишь, я сделаю из тебя Ойстраха.

Нитка с китайским жемчугом дрожала у нее на груди. Мама теребила жемчужины, оживляя их теплыми подушечками ладоней. Попугай, тревожно нахохлившись, принюхивался к куриным запахам кухни. Петушок на кухне, уже опаленный, уже отпевший лебединую свою песню, томился в тесной кастрюльке в золоте бульонной воды.

Жемчужины играли на солнце на белой материнской груди. А петушка принесли им в жертву, чтобы они играли на солнце, а порча и коварная чернь не подкрадывались их погубить.

Мама знала, как спасти жемчуг, – знала от своей мамы, бабушки Женьки Йониха, а та еще от своей, и так далее, от матери к дочери, в мудрую глубину веков.

Надо было дать склевать жемчужины петуху; там, в петушьей утробе, жемчуг набирал силу, а через день, к субботе, петух приносился в жертву, внутренности из него вынимались, и жемчужины, все новенькие как одна, снова радовались своему воскресению.

Мама, Суламифь Соломоновна, сказала сыну: «Играй» – и ушла.

Женька Йоних печально вздохнул и подумал про свой Египет.

За окошком над полосатыми крышами полз по небу жук-скарабей. За Фонтанку, по белу небу, и лапками катил перед собой солнце.

Женька тронул струны и тихонечко заиграл.

7

Улица оживала.

Прошаркал вялый инвалид Ртов выпить квасу в Покровский сад. Молодые мамы выкачивали коляски. Прохожих становилось все больше.

Надо было что-то решать. Улица сама и решила.

«Сделаться на время прохожим. Ну конечно. Проще простого.»

Превратиться в прохожего, пройти мимо этих двоих и послушать, о чем они там щебечут.

Прохожий – вещь незаметная. Он в каком-то смысле предмет. Как тот фонарь, или эта стенка, или урна, или копейка на мостовой.

И поскорей, пока эти двое не разбежались.

Я вышел из подворотни, быстро одолел улицу и свернул за угол на проспект. Постоял, сосчитал до двух и опять вернулся на улицу, на ту сторону, где стояли они.

Что на свете серее пыли? Мышь. А серее мыши? Правильно, школьная форма.

В своем мышинном костюмчике я чувствовал себя невидимкой. Костюмчик был мешковатый, то есть сильно напоминал мешок. Мешок, а в мешке – я на фоне длинной серой стены дома № 31.

Игра в прохожего мне понравилась. В ней главное – быть естественным, вести себя попростому, средне, не выделяясь. Примерно так же, как в жизни.

Я шел себе руки-в-брюки, насвистывал «Подмосковные вечера» и, как бы щурясь от воскресного неба, присматривался к таинственным незнакомцам.

До них оставалось домов пять или шесть. Я уже приготовил уши. Вот тут-то и случился конфуз.

Дом № 23 был цветом не такой, как другие. Другие стояли серые – от времени и от скуки, – а этот весь был какой-то бледный, золотушно-чахоточный, и стоял, опираясь, будто на костыли, на старые водосточные трубы.

Моя серая мешковина на фоне этой больничной немочи была как толстый рыночный помидор на тарелке с магазинными сухофруктами.

Плакала моя маскировка.

Но тут я вспомнил, что у куртки существует подкладка. И цвет примерно подходит.

Долго я не раздумывал. Вывернул на ходу одежду, и иду себе не спеша дальше, свищу «Подмосковные вечера».

Прошел я желтушный дом, вывернулся серым наружу и снова стал, как мешок.

Пронесло.

На этих я уже не смотрел, боялся спугнуть. Глаз ведь, он, как фонарь, – его издали видно. Поэтому я работал ухом, помогая ему ногами.

И все же я немного не рассчитал. Вернее, глаз мой дал маху, засмотревшись на какую-то вмятину на асфальте. Правда, вмятина была интересная и по форме сильно напоминала шляпу Лодыгина. Поэтому, когда я услышал голос, то поначалу чуть не подпрыгнул, но тут же взял себя в руки.

«Спокойно», – сказал я себе и весь превратился в слух.

– Значит, так, – говорил Лодыгин (голос был, точно, его), – главное, чемоданы. И всех расставь по местам. Чтобы ни один у меня...

Дальше я не расслышал. Ноги сами несли вперед, и что-то больно давило в спину. Я догадался, что. Взгляд, тяжелый и липкий, словно глина или змея.

В воздухе запахло больницей.

«Не оглядывайся. Ты прохожий, терпи.»

Я чувствовал, обернешься – застынешь каменным истуканом и останешься таким на всю жизнь.

За углом я выдохнул страх и глотнул осеннего воздуха. Небо было в солнечных зайчиках и в вертких городских воробьях. Но почему-то перед моими глазами плавали раздутые чемоданы. Как утопленники, как накаченные газом баллоны, как гигантские городские мухи. И шептали мне лодыгинским голосом: «Теперь ты наш, теперь от нас не уйдешь».

8

Я смотрел на Женькины занавески и ждал, когда он откликнется. Мелкие камешки нетерпения перекачивались у меня под кожей, не давая спокойно жить. Изнутри кололо и жгло, как будто я проглотил горячий пирог с ежами. Надо было срочно поделиться новостью с другом.

Я еще раз свистнул в окошко условным свистом. Женька не отвечал. Легонько дернулась занавеска – видно, от сквозняка, – и из щели выглянул тяжелый угол комода.

Со скрипкой он там, что ли, своей обнимается? Я нервничал, новость жгла. Я пошарил вокруг глазами, высматривая, чем бы бросить в окно, но ничего подходящего не нашел. Придется тратить драгоценный мелок. Я прицелился и запустил им в стекло.

Мелок влетел точно в форточку, в прореху между тюлевыми занавесок. Я свистнул на всякий случай еще, чтобы не подумали на уличных хулиганов.

Занавеска взмахнула крыльями, я вытянул по-жирафы шею. Хитро, как преступник преступнику, мне подмигнул комод. Потом он пропал из виду, потому что на его месте вдруг возникла Суламифь Соломоновна, мама Женьки. И жалкими высохшими тенями, будто уменьшенные с помощью волшебного порошка, маячили между пальмами на обоях Женька и его скрипка.

Оконная створка щелкнула и отскочила наружу. Солнце ударило из-за труб, волосы Суламифь Соломоновны окутались золотым дымом. Теперь она была не просто Женькиной мамой, она была библейской Юдифью со знаменитой эрмитажной картины. Я чувствовал, что моя голова почти уже не держится на плечах.

Я поднял глаза и хотел промычать «здрасьте», но ее жемчужное ожерелье слепило, будто электросварка.

– Это жестоко, молодой человек. Посмотрите, что вы сделали с птицей.

В ямке ее ладоней лежал контуженный попугай Степа. Голова его была вся в мелу, хохолок, когда-то изумрудно-зеленый, стал грязнее обшарпанной штукатурки. Он с трудом повернул голову и хрипло воскликнул: «Умер-р!». Потом трагически закатил глаза. Потом приподнялся на правом крыле и, откинув левое в сторону, тихо сказал: «Вр-рача».

К горлу Суламифь Соломоновны подкатилась соленая волна жалости. Она взглотнула, шея ее надулась, она хотела что-то сказать, но не успела – нитка с жемчугом оборвалась и на серый асфальт земли просыпался звонкий дождь.

Несчастная Суламифь Соломоновна заметалась, словно пламя в окне.

– Ты...ты... – Она тыкала в меня пальцем, как будто это я перетер ниточку взглядом.

– Ты... – И вдруг она замолчала, вместо губ заговорили глаза, наливаясь жемчужинами-слезами.

Попугай в секунду превратился в живого и, разбрасывая облачка мела, поскорей улетел в комнату.

Надо было Суламифь Соломоновну выручать. «Сейчас», – крикнул я и первым делом кинулся выручать ниточку, которую ветер прилепил к урне. Я поднял ее, бережно намотал на палец и, ерзая коленями по асфальту, пополз собирать жемчужины.

Но ветер оказался проворнее. Он ударил тугой струей, полетели по мостовой листья, упали с проводов воробьи, толстые осенние голуби запрыгали, как войлочные мячи, и застряли в Климовом переулке.

А когда улеглась пыль, жемчужин больше не было ни одной, все их склевали птицы. Тогда я смотал с пальца ниточку и весело помахал ею в воздухе.

– Вот...

Наверно, улыбка моя была слишком широкой, потому что Суламифь Соломоновна вдруг сделалась белой-белой, а потом вдруг сделалась красной, почти бордовой, но это была уже не она, это была каменная плита комода, нависшая над моей могилой.

9

Воскресенье кончилось, начался понедельник.

Опять было утро, но квартира уже молчала – родители ушли на работу, соседи тоже, остался лишь инвалид Ртов. Он сидел на кухне на табурете, ремонтировал свой костыль. Потом хлопнула дверь на лестницу, это пришел с ночного дежурства еще один наш сосед – Кузьмин.

Дядя Петя Кузьмин работал где-то в охране и зимой и летом носил шинель и зеленую пограничную фуражку. Еще он курил трубку – «в память о товарище Сталине».

В школу я ходил во вторую смену, утро было свободное, уроков на понедельник не задавали.

Я валялся на пролежанной оттоманке и грыз в зубах авторучку. Передо мной лежала тетрадка, на обложке было написано красивыми буквами: «Тайна ракеты». Ниже тянулись буквы помельче: «научно-фантастический роман».

Писать роман я начал еще в прошлое воскресенье от скуки – потому что день был пропавший, с утра поливало как из ведра, и на улицу идти не хотелось.

Первая глава начиналась так:

Я шел по дремучему лесу и вдруг увидел человека в скафандре, который со зловещей улыбкой смотрел мне прямо в спину. Я почуял недоброе. Вдруг он выхватил атомный пистолет и нажал курок. Я нагнулся, и атомная пуля пролетела мне прямо над головой. Пока он перезаряжался, я отбежал за дерево и вдруг увидел ракету, которая стояла, как зловещая сигара. Вдруг в ракете открылся люк. Я залез в люк, и вдруг она полетела вверх. Я увидел в иллюминатор, как человек в скафандре бежит к ракете, но было поздно. Ракета уже приближалась к космическому пространству.

На этом месте первая глава обрывалась, и я кусал несчастную авторучку, не зная, что написать дальше. Будто это она была виновата.

На кухне грохнул об пол костыль. Я приоткрыл дверь в коридор.

– Пестиком, я тебе говорю, – сказали голосом дяди Пети.

– А я говорю, пальцем. – И снова бухнула деревяшка Ртова.

– Знаешь, что пальцем делают? Им в носу ковыряют. А трубку товарищ Сталин всегда набивал пестиком. У него был такой специальный, ему тульские оружейники его к юбилею сделали.

– Ты это старухе своей рассказывай насчет пестика. Трубку товарищ Сталин набивал пальцем, вот этим, большим, потому что был человек простой.

Что-то там у них заскрипело, видно, инвалид стал показывать, как товарищ Сталин набивал трубку.

Через пару секунд я услышал:

– Ртов, ты на фронте был? Вшей в окопах кормил? Может, скажешь, фашистским танком ногу тебе отдало? Чемоданом тебе ее отдавили, когда драпал за Урал в тыл.

«Чемоданом.» Я даже вздрогнул, едва услышал знакомое слово.

На кухне затрещал табурет.

– В тыл, говоришь? За Урал? Ну все, вохра поганая, сейчас я тебя буду ставить к стенке.

Дядя Петя хрипло расхохотался.

– Сам я таких, как ты, ставил к стенке, бендера.

На кухне запахло порохом. Надо было срочно бежать во двор, пока не ударила тяжелая артиллерия.

10

Человек Лодыгин аккуратно подышал на очки и протер их насухо тряпочкой. Телескоп он приготовил заранее: тот с вечера дремал на треноге и дулом был повернут во двор.

Будильник прозвенел девять.

Лодыгин окунул глаз в окуляр и увидел черную ночь. Он еще раз посмотрел на будильник: утро, две минуты десятого. Приставил будильник к уху: ходит.

Тогда почему ночь?

Он сдвинул шляпу на лоб и подергал волосы на затылке. Походил, подумал, хлопнул себя по шляпе, танцуя подошел к телескопу и снял с него переднюю крышку. Потом снова заглянул в окуляр.

Теперь он увидел двор. Во дворе было пусто и тихо. Ни травинки, ни человека – осень.

– Опаздывает, – сказал он вслух. – Вот и связывайся с такими.

На стене висела картина «Утро в сосновом бору». Под картиной стоял аквариум – стеклянный пятиведерный ящик, наполненный рыбками и водой. Декоративная пластмассовая коряга изображала морское дно. Рыбки плавали у поверхности и тянули из воды рты.

– Нате жрите, – сказал человек Лодыгин, снял со стены картину и стряхнул в аквариум тараканов, пригревшихся на заднике полотна.

На лицо его выскочила улыбка. Он затер ее рукавом и только потянулся за папиросами, как ухо его задрожало и повернулось к окну. Что-то в нем, в его ухе, аукнулось.

Человек Лодыгин вмиг позабыл про рыбок и папиросы и бросился к телескопу.

На сморщенной ладони двора стоял человек. Человек этот был я, но только большой и сильный. В этом был виноват телескоп.

Лодыгин все-таки дотянулся до папиросы и выпустил стебелек дыма.

– Ты-то мне, голубчик, и нужен, – сказал человек Лодыгин и выпустил еще один стебелек дыма. На конце его вырос дымчато-голубой цветок, пожил немного и умер от сквозняка.

– А этого мерзавца все нет, – он хмуро посмотрел на будильник, – опаздывает на пятнадцать минут. Если минута – рубль, то с него пятнадцать рублей.

– Шестнадцать. – Человек Лодыгин проследил, как стрелка перепрыгнула на одно деление, и стал ждать, когда выскочит еще рубль.

11

Я вышел в наш молчаливый двор и задумался о времени и о дружбе.

К Женьке было нельзя, теперь уже, наверно, навечно. Черепаха Таня еще спала, она у нас была полунощница. Делать было решительно нечего. Ладно, пойду домой, может, бойцы на кухне перебили друг друга, и можно спокойно повыпиливать лобзиком.

И тут я услышал голос. Он вырвался из трубы подворотни, как полоумный пес.

– Ножи точу! – закричало над моим ухом, и в облаке серебряной пыли на двор выкатился старик.

Перед собой он толкал что-то похожее на патефон на колесиках – такое же хриплое и горластое, прилаженное к металлической раме и в брызгах трамвайных искр.

– Семнадцать рублей двадцать четыре копейки, – сосчитал у себя наверху человек Лодыгин. Потом, не отлепляя глаза от окуляра, дотянулся до широкого подоконника.

На подоконнике храпел кот. Он был черный, как головешка, и тяжелый, как чугунный утюг. Хвост у кота был огненный, как свернутое в трубочку пламя.

Рука Лодыгина взяла кота за загривок и развернула хвостом к окну. Кот лениво разжмурил глаз, зевнул и захрапел дальше.

– Ножи! Точу! – Старик, щурясь, сначала посмотрел на меня, потом внимательно оглядел двор, потом сунулся взглядом в окошки и быстренько прошелся по ним. На каком-то он, похоже, споткнулся, потому что сказал: «Ага» – и снова посмотрел на меня.

– Поганный у вас однако дворишко, не разживешься. Эй, шпанина, ты тутощний?

Человек Лодыгин приставил к уху метровую слуховую трубу, а конец ее вывел в форточку.

– Тыфу, прости Господи! Ну как с такими невеждами культурному человеку дело иметь! От него ж тюремной баландой за километр пахнет. Помягче надо, помягче, дите ж, а не черт лысый. Нет, пора останавливаться – не хочу, не могу, не бу...

Стоптаным рыжим ботинком старик давил на рубчатую педаль, а голосом давил на меня.

– А что? – спросил я.

– А то, – сказал мне старик. – Значит, местный?

– Ну, местный.

– Вижу, что не американец. А скажи, ты не сирота?

В его мохнатых глазах не плавало ни капли улыбки.

– Это почему сирота? Не сирота я.

– Ага, не сирота, жаль. Если бы ты был сирота, я дал бы тебе вот это.

Старик вынул откуда-то из себя конфету «Мишка на севере» в сморщенной вошеной обертке.

– А раз ты не сирота, то получай вот это.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.